

КРАСНЫЙ СЕР

Год издания одиннадцатый.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И КОНТОРЫ:

г. Вологда, улица Урицкого, дом № 2.

ТЕЛЕФОНЫ:

редакции—1-90.

кабинет редактора—1-92,

ночной — 3-28.

конторы — 3-45.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА на 1 месяц:

Для крестьян и красноармейцев — р. 75 и

Для членов профсоюзов . . . — р. 85 и

Для проч. граждан и учреждений. 1 р. 25 и

Плата за объявления 60 к. стр. вонцарези,

при многократн. печатании по соглашению

№ 159 (3048) Воскресенье, 14 июля 1929 г.

Цена 5 коп.

Революционность Чехова

(К 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)

Психологию Чехова в последние годы его жизни будет ближе всего называть революционной. Она была революционной потому, что ее питало сознание неизбежности и необходимости быстрого и крутого обновления форм общественной жизни, в свою очередь опиравшееся на живое чувство протеста против социальной несправедливости, которую была пронинута сверху до низу вся русская жизнь. И с этой точки зрения является более или менее безразличным, в какой мере разбирался Чехов в теоретических течениях различных социалистических направлений, в партийных программах и т. д. Дело не в этом, а в том, что, как художник, он почувствовал неизбежность и благотворность революционного переворота, и отразил это в своем творчестве с полной определенностью.

Сначала это проявлялось лишь как характерное, предгрозовое чувство: «больше так жить невозможно». Уже такие рассказы, как «Учитель словесности», написанный еще в 1894 г., насыщены этим настроением: живет человек самым благополучным образом, любит жену и любит ею, дает уроки, получает жалованье, пользуется завидным здоровьем, слушает музыку, читает хорошие книжки и вдруг, именно вдруг, и именно от всего этого, спокойного и безмятежного благополучия — приходит в состояние нравственного ужаса, словно сама смерть подошла к нему в этом образе сытой и пошлой удовлетворенности, — и вот он записывает у себя в дневнике: «Где я, боже мой! Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные ничтожные люди, горшечки со сметаной, кушанья с толченым тараканом, глупые женщины... Нет ничего страшнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!».

Это беспредельное стремление го-

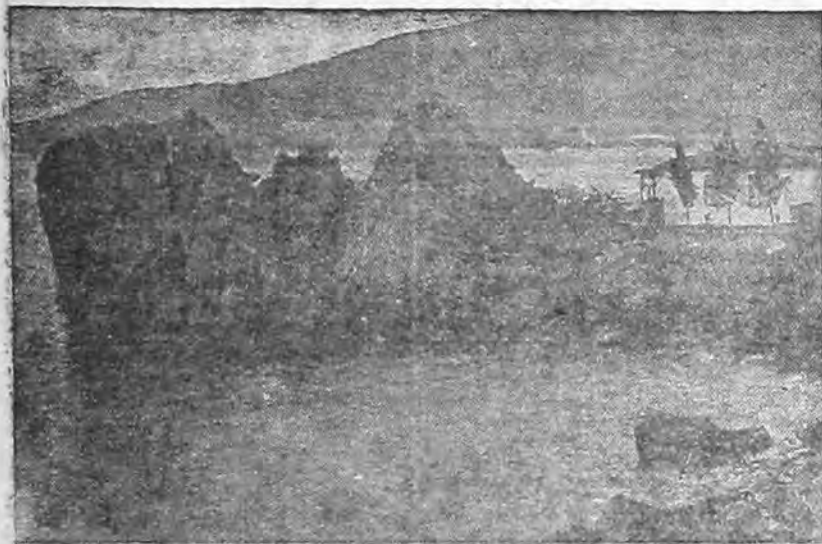
сферы, которой дышит читатель из произведений, тех эмоций, которыми они его заражают. Когда на торжественном спектакле Московского Художественного театра, по случаю его тридцатилетия, отвыкшая от чеховских пьес публика услышала слова



А. П. ЧЕХОВ

К 25-летию со дня смерти
(1904 — 15-го июля — 1929 г.)

барона Тузенбаха из «Трех сестер»: «Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку», — то, по словам газетных отчетов, точно электрический ток пробежал по зрительному залу. И многие с удивлением спрашивали себя: как это чеховский «нытик»



Домик и скала А. П. Чехова на южном берегу Крыма в местечке Гурзуф близ Ялты. Снимок нашего фото-корр. Н. С.

ров Чехова вырваться из оков пошлой жизни постепенно оформлялось и выкристаллизовывалось уже в нечто и по форме своей революционное: в стремлении «перевернуть жизнь». «Главное, говорит герой одного из последних рассказов Чехова «Невеста» — перевернуть жизнь а все остальное не нужно». «Перескочить через ров», «построить мост», «перевернуть жизнь», все это лишь различные выражения одного и того же революционного чувства, — жажды крутой ломки жизни, резкого и глубокого обновления косных общественных форм.

Но и это не все. Не подлежит сомнению, что если бы в произведениях Чехова последних годов и отсутствовала та или иная из приведенных выше фраз, если бы даже их вовсе не было, дело от этого нисколько бы не менялось по существу, творчество Чехова в этот период было бы по характеру своему именно революционным. Ибо вопрос этот разрешается в ту или иную сторону не тем или иным количеством революционных терминов и фраз. Если бы революционность художника устанавливалась в зависимости от того, употребил ли он в своих произведениях, и именно сколько раз, революционные термины и слова то задача исследователя была бы чересчур уж легка, и сказал бы — легка до глупости, она свелась бы к арифметическому подсчету. И слишком легким становилось бы задание самого титула революционного художника.

Вопрос должен быть поставлен глубже и сложнее. Классификация художника по признаку революционности или консерватизма должна быть произведена не на основе отдельных цитат, которые можно у них выудить, а исходя из той атмос-

нашел такой свежий, такой яркий, такой подлинно-революционный тон, глубоко волнующий и поднимающий даже нас, переживших две могучих революции!

Но ведь ни малейшему сомнению не подлежит, что эти несколько слов не в силах внести мало-мальски значительное изменение в общий характер, в общий смысл пьесы и если «Три сестры» взволновали публику юбилейного спектакля, то не благодаря этим лишь словам. Все дело в том, что Чехов волнуется, что волнуется он глубоко и благотворно, а слова Тузенбаха дают лишь исход этому волнению.

Основным классификационным признаком революционности писателя и является характер того волнения, которое он сообщает читателю. Есть писатели, и даже огромного таланта (например, Гончаров, Лесков), которые оставляют в своих читателях нечто в роде чувства духовной сытости. И есть другие, которые рождают духовный голод. Первые, — в каком бы виде они не изображали революционеров и реакционеров, пусть последние будут все злодеи, а революционеры — насквозь добродетельны и безупречны, суть писатели консервативные, если не ретроградные, ибо они успокаивают читателя они притупляют в нем чувство возмущения против косности жизни. И подлинно-революционные являются те писатели, которые возбуждают духовный голод в своих читателях, хотя бы изображали они не революционеров, а учителей словесности, баронов Тузенбухов и Душечек, потому, что они обостряют нашу ненависть к обветшалым формам жизни, вооружают против косности, в чем бы она ни проявлялась. И в этом смысле я затрудняюсь назвать у нас писателя более револю-

ционного чем Чехов. Никто не нанес косной, мешанской, пошлой, обывательской жизни таких смертельных ударов, таких ядовитых, не закрывающих ран, как именно он своими «милыми» невинными, ласкающими, то смешными, то грустными рассказами. Не «липовым чаем» напоил он русского обывателя, как это назалось одному критику (Д. В. Философову), а отравой. И сделал он это с такой неотразимой простотой, так, сказал бы я, незаметно, что отраву эту лили с наслаждением даже те, кого он убивал. Вспомните его удивительные слова из письма к Суворину: «все исцеляющая природа убивая нас, в то же время искусно обманывает, как нянька ребенка, когда уносит его из гостиной спать».

Вот точно так поступил Чехов и с обывателем. Он искусно обманул его и унес из «гостиной», из мира самодовольной, сытой, безмятежной пошлости, но унес не спать, — а напротив — к пробуждению сознания своего ничтожества.

Конечно Чехов не убил его навсегда, да обыватель и не в одном чеховском поколении свил себе гнездо, — его не мало и сейчас.

Но объективно «пошляк», «мещанин» и «обыватель» до Чехова и после Чехова — уже различные: они разобла-

чены, с них сняты обманчивые покровы невинности, и теперь пошлая легче узнать в толпе, — этому научил Чехов.

Да и сам обыватель уже не так безмятежен и как-то смущенно пожимается, глядя на себя в зеркало чеховских героев.

Вот почему так странно бывает слышать еще и теперь раздающиеся голоса о разлагающем влиянии тоски, разлитой в рассказах Чехова, — когда и что она разлагает? Она разлагает самого опасного врага жизни: духовную сытость!

Современники Чехова хорошо помнят, кто брюзжал на него и кто им восторгался. Брюзжала застойная, мешанская Россия и восторгалась Россия молодая, жаждавшая сбросить с себя оцепенение 80 годов. С каким чувством уходили мы из театра, где ставились чеховские пьесы? С тем чувством, которое выше было формулировано: «дальше так жить невозможно».

Тоска, которую уносил, с собой зритель из чеховского театра, была творческая, живительная, подлинно-революционная тоска. И кто знает, сколькими внушила она мысль о скольких укрепила в решении: перевернуть жизнь.

А. ДЕРМАН.